

АВДОТЬЯ ЛЬВОВНА

Авдотья Львовна просыпается рано. Даже дворники не в силах с ней соперничать. Умывшись, ловко прилаживает акриловые протезы к оставшимся четырем молярам и, выждав, когда электрочайник, победно щелкнув, успокоится, заваривает цикорий с ромашкой. Пока напиток зреет, кладет полусантиметровой толщины кусок масла на ломоть маковой сдобы и, присев на край подоконника, ждет, когда из надтреснутого динамика грянет гимн. Первые аккорды заставляют ее чуть нахмуриться, сосредоточиться. К припеву же лицо светлеет, морщины волшебным образом разглаживаются, а глаза наполняются таким светом и несвойственным пожилому возрасту блеском, что восходящее солнце кажется жалкой пародией на себя. Такое превращение происходит с ней ежеутренне в течение последних десяти лет. Именно столько она не обременена работой, заслуженно вкушая прелести пенсионного положения.

Муж Авдотьи Львовны Александр Сергеевич в это время спит тревожным сном алкоголика. Вздрагивает, матерится, беспрестанно ворочается и, кажется, даже во сне не находит себе места. Их режимы катастрофически не совпадают, как, впрочем, и взгляды на жизнь. Объединяет, пожалуй, одно – смирение.

В квартире живет еще несколько существ, одно из которых – Кеша, волнистый сиреневый попугай мужского пола. Он подает признаки жизни ровно к тому моменту, когда завтрак Авдотьи Львовны начинает интенсивно всасываться в стенки желудка.

– Кеша птичка! Сашка дурак! – по-человечьи, с хрипотцой выдает он. – Кис-кис!

Авдотья Львовна одаривает пернатого удовлетворенной улыбкой и, щедро наполняя кормушку пшеном, терпеливо отвечает:

– Да уж, Сашка у нас дурачок! А Кеша – птичка! Давай звать Маню! Кис-кис!

Прибегает Маня. Маня – рыжий кастрированный кот, полную принадлежность которого определили не сразу. Отсюда

и имя. Маня достался Авдотье Львовне от уехавших за границу соседей. Сухой магазинный корм Маня не признает. С большим уважением относится к отварной селезенке и печени. Оттого, брезгливо обнюхав вчерашний «Вискас», трется жирными боками об ноги хозяйки.

— Тогда терпи.

Приняв к сведению, Маня уходит, нервно подергивая хвостом и кончиками ушей. Через минуту на кухню метеором влетает кот Василий. Серая шерсть дыбом, хвост пистолетом. Неприхотливый во всем, довольный жизнью как таковой и, соответственно, «Вискасом». (Его темное прошлое и плебейское происхождение не позволяют качать права.) И хотя у Василия есть заветная гастрономическая мечта, имя которой Кеша, он в очередной раз смиряется с ее призрачностью и потому жадно, по-мужски уминает оставшийся со вчерашнего вечера корм.

— Вот это по-нашему! Умница! — не нарадуется Авдотья Львовна, ставя на плиту кастрюльку с водой.

— Умница! — повторяет Кеша. — Кеша птичка. Сашка дурак.

Минут через пятнадцать запах поспевающей селезенки заставляет Маню вновь прибежать на кухню. Василий также не прочь вкусить натурального продукта, но, осознавая свою неисключительность, облизнувшись, убегает восвояси.

Часам к девяти «дети» (так свою живность называет Авдотья Львовна) накормлены, а значит, можно спокойно выйти на улицу и утолить жажду общения с себе подобными.

Мария Арнольдовна — лучшая подруга Авдотьи Львовны. Их дружба зиждется на неприятии мужей-алкоголиков и любви к животным. Встречаются у выхода из подъезда. Улыбаются, вздыхают, сетуют.

— Со своими управилась? — выказывает особое понимание Мария Арнольдовна, поправляя черный, как строительная смола, парик.

— Да, Маш, накормила, напоила! Как без этого? Они ж как дети мне!

— А мой Рексик приболел маненько. Вчера в ветпункт снесла.

Говорят, диспепсия.

Авдотья Львовна понимающе качает головой, разводит руками, жалеет Марию Арнольдовну и Рексика.

– Даст бог, все наладится. Смекты наведи ему.

– Дочь не заходит? – неожиданно спрашивает Мария Арнольдовна, опустив подведенные синей тушью веки.

– Дочь?! – брезгливо выдавливает Авдотья Львовна. – Нет у меня, Маш, никакой дочери. Знать ее не хочу.

Солидарно вздыхают. Минуту спустя Авдотья Львовна распаляется:

– Это ж надо. Выйти замуж за... – как его?.. – стриптизера! Стыд-то какой! Тьфу! Эльдаар! – Разводит руками и приседает на широко расставленных ногах. – Имя одно чего стоит. И ребятенка назвали не пойми как! Не то Арнольд, не то Оскольд.

– Арнольд Эльдарович! Мда, намудрили.

– Вот и я о том же! Не хочу их знать. И все тут. Пусть сами разбираются со своей жизнью. Посмотрим, что у них получится.

– Ясно дело – ничего! Понаиграются, да разбегутся!

– Во-во, да ребятенку жизнь покалечат! Ироды!

– Ладно, бог с ними, пойдем гулей кормить.

Пока Авдотья Львовна с Марией Арнольдовной кормят окрестных голубей хлебными крошками, Александра Сергеевича уже полчаса упорно будят телефонные звонки.

– Ну что за беспредел, твою мать! – натягивает на голову одеяло Александр Сергеевич. – Кому там неймется?

Но телефон не перестает звонить, вселяя болезненное раздражение в потенциального абонента.

– Дааа!!! Кого надо?! – злобно рычит в трубку Александр Сергеевич. Но тут же смягчается: – Доча, ты? Прости старика. Спал я. Мать где? Ушла своих кормить. Как ты? Как Арнольдик? Не болеет? Ну и слава богу. Я? Да нормально. Вроде не болит ничего, так, иногда радик прихватит. Что? Финалгон?! Да ну..! Водкой разотру, проходит. Нее, боже упаси, ни капли! Так, по праздничкам. Да что рассказывать? Ты же знаешь. Ее не перевоспитаешь. Горбатого могила исправит. Такие вот дела. В гости

не зову, сама понимаешь. Ну, да ладно. Звони. Целую всех вас. Эльдару привет от меня. Все...

После разговора еще долго сидит на кровати, обхватив взъерошенную вспотевшую голову ладонями. Что-то невнятное бормочет под нос, но подступившая к горлу тошнота вынуждает замолчать, с трудом подняться и дойти до уборной. В желудке ничего, кроме желчи. Кое-как ополоснув лицо, прикладывается ртом к кранику. Напившись, кряхтя и кашляя, согбенный, проходит в кухню. На подоконнике, в тени цветущего лимонника, лежит Маня. Заметив Александра Сергеевича, боязливо отворачивает голову к окну и делает вид, что заинтересован бьющейся в межоконном проеме мухой.

– Ну, не хочешь здороваться, не надо. Где-то у меня оставалось, если только бабка не вылила.

Находит за батареей початую чекушку, жадно выпивает и заедает неубранной со стола звездочкой «Вискаса». Через минуту алкоголь действует, и Александр Сергеевич чувствует прилив сил, как физических, так и душевных. Осмелев, развязно поворачивается к Мане, претенциозно скрещивает руки на груди, хитро щурит подернутый катарактой глаз и начинает в тысячный раз знакомый обоим разговор:

– Ну, вот, ответь мне, хто ты таков есть? А?!

Маня в ответ недовольно фыркает, пугается, случайно задев плоды лимонника, но терпит.

– Гляжу я на тебя и не пойму! Мужик ты али баба? Какого рожна тебя держат? Ради какой такой прогрессии? Мышей не ловишь, Васька для того поставлен. Гладить тебя – себя не уважать! Каков от тебя, кастрата, прок? Ответствуй! А, молчишь?! То-то...

Маня не выдерживает, обиженно спрыгивает с подоконника и убегает.

– Правильно, давай, шелести отседова, андрогин несчастный!

А потом еще вдогонку, срываясь на фальцет:

– А дочь меня любит! Отца-то! Не забывает! Так-то!!!

Смахивая слезу со щеки, пробирается в коридор, находит куртку и, потев от волнения, шарит за подкладкой. (Память, увы, не дает положительного ответа о наличии заначенного вчера полтинника.)

— Ну, вот! Молодца! — отыскав, любовно разглаживает сложенную вчетверо купюру. — Поправится Саша, значит!

— Сашка дурак! — отвечает на удар захлопнувшейся двери Кеша.

Возвращающиеся с утренней прогулки подружки издали замечают торопящегося Александра Сергеевича.

— Вон, гляди, твой поковылял! Невмоготу, видать! — восклицает Мария Арнольдовна.

— И не говори, Маш. Когда ж они до смерти-то налакаются? Поверишь ли, сдохнет — не заплачу! Всю жизнь мне измызгал дурью своей! Себя да других измучил! А Бог терпит. И мы... Ты в поликлинику завтра пойдешь?

— Да! К глазнику. Внутриглазное проверить.

— Вот и я к зубному. С протезом — беда...

Расходятся по домам, пообещав встретиться вечером. Возвратившись, Авдотья Львовна в очередной раз кормит своих питомцев, производит влажную уборку во всей квартире, кушает картофельный суп с клецками и, усевшись в старое выцветшее кресло, включает телевизор.

Как и многие люди ее возраста, она боготворит сериалы. Смотрит их внимательно. На рекламу не уходит, опасаясь пропустить самое значительное. Знает по имени каждого героя и всем сердцем болеет за судьбы полюбившихся персонажей. Искренне, по-детски расстраивается, если по какой-то причине пропускает серию. Но, посмотрев ее следующим утром при повторном показе, успокаивается и умиротворенно живет дальше.

Сериал, по мнению Авдотьи Львовны, обязаны смотреть все члены семьи (Александр Сергеевич не в счет), поэтому даже клетка с Кешей переносится на время телесеанса из кухни в зал, где торжественно устанавливается на табуретку вблизи телевизора. Маня вальяжно устраивается на коленях хозяйки, Василий

в ногах. Первые минуты смотрят молча, словно боятся нарушить намеченный в предыдущих сериях ход событий. Вскоре, убедившись, что все идет по плану, бросают разного рода реплики.

– Правильно! – со знанием дела говорит Авдотья Львовна. – На кой черт ей этот Хорхе сдался. Сам как петух в курятнике, а все ему мало!

Маня с Василием в ответ многозначительно переглядываются и в знак полнейшего согласия довольно урчат.

– Сашка дурак, – резюмирует Кеша. – Кис-кис.

Коты по привычке вздрагивают. Авдотья Львовна добрым взглядом успокаивает их, почесывая Мане шейку:

– И Сашка, да... такой же козел был. Еще похлеще! Все они ходоки, пока пороху хватает, а как кончится, так к бутылке присасываются.

Где-то на середине серии слышится лязг ключей в прихожей. Это в стельку пьяный возвращается Александр Сергеевич. На щеке свежая ссадина, карман куртки разорван по шву, в руке – накрытая одноразовым стаканчиком поллитровка.

– Что...?! Отец вам не тот?! Пригрелись да?.. На шее... Я, погодите, устройю вам, где р...

Круша все на пути, проходит в свою комнату, падает на диван и засыпает.

– Легко на помине-то! Варвар, – вздыхает Авдотья Львовна. – Ладно, ну его...

К концу сериала Авдотья Львовна почти всегда засыпает. Сегодняшний день – не исключение. Коты тоже бы не прочь заснуть, но храп хозяйки настолько громок и необычен, что сделать это почти невозможно.

Снится Авдотье Львовне в последнее время один и тот же сон. Будто она-первоклассница возвращается из школы домой. Причесанная головка в огромных белых бантах. Поверх школьного платья белоснежный накрахмаленный фартук с развесистыми кружевами. Ножки в белых праздничных гольфиках и розовых лакированных туфельках с красной каймой по краям. За спиной новенький кожаный ранец, к первому сентября роди-

телями подаренный. В нем учебники разные, пенал с ручками, да тетрадки с первыми четверками и пятерками. На радостях по пути забегает в кондитерскую и покупает у продавщицы тети Любы (маминой знакомой) сто граммов ирисок. Тетя Люба отпускает, добавляя бесплатно еще парочку, добродушно улыбается и машет рукой вслед.

— До свидания! — весело говорит девочка.

Выйдя на улицу, исподлобья глядит на солнышко, словно спрашивая: «Можно?!» Солнышко улыбается: «Можно!» Авдотья Львовна аккуратно разрывает пакетик, смотрит на конфетки, не спеша, любитесь обертками. Во сне они не такие, как наяву — блеклые и неинтересные, а наоборот — блестящие и разноцветные, как узоры в калейдоскопе. Звонко смеясь, разворачивает, кладет в ротик, жует своими наполовину молочными зубками, прикрывая от удовольствия глазки. И кажутся ей эти ириски такими сладкими, такими необычными... Они точно тают во рту, как сладкий волшебный снег, заставляя думать, будто нет на свете ничего вкуснее и замечательнее...

И все было бы как и прежде, если бы на этот раз одна, последняя ириска не оказалась такой твердой, каменной будто, что разжевать ее семилетней Авдотье Львовне оказывается не под силу. Плачет она от бессилия и обиды во сне своем детском, и наяву тоже плачет, всхлипывает. Да так жалобно, так громко, что попадает эта самая ириска ей в дыхательное горлышко и застревает там намертво. Ни туда, ни сюда..

От нехватки воздуха охваченная ужасом Авдотья Львовна просыпается. Испуганно качает всем телом из стороны в сторону и силится позвать на помощь Александра Сергеевича.

— Са... шаа... — с трудом вырывается у нее из груди.

— Сашка дурак, — отвечает ей Кеша. — Кеша птичка. Кис-кис.

Маня в ужасе спрыгивает с трясущихся колен хозяйки и вопросительно смотрит на Василия, который хотя и не теряет самообладания, но на всякий случай отбегает в сторону. Притаившись, не моргая, выжидающе смотрит медно-желтыми глазами на задыхающуюся хозяйку. Мгновение... и силы вовсе

покидают ее. Кот мужественно опускает голову, шевелит усами и уходит прочь, случайно задевая хвостом кусочек зубного протеза, так поздно выпавшего изо рта Авдотьи Львовны.

ПАПИН БОРЩ

Сёмушка ехал по узенькой каштановой аллее на трехколесном велосипеде, я шел следом и украдкой наблюдал за его маленькими пухлыми ножками, так весело крутящими педали. Прохожие вежливо расступались перед ним, нахваливали, добродушно улыбаясь и вздыхая.

– Дорогу молодым! – провозгласил сидящий на лавке седовласый старик. – Ишь, какой! Молодец, пацан!

Я смотрел на сына с нескрываемым умилением, поражаясь лихости и аккуратности, с которыми он объезжает препятствия. Позавчера ему исполнилось четыре года.

– Папа! – неожиданно остановился он. – А где твой папа?

– Умер... Давно.

– Зачем?

– Заболел и умер.

– А-а... – задумчиво протянул он, но потом отвлекся на барахтающегося в песке воробья, улыбнулся ему и покатил дальше.

«Заболел и умер». Так или примерно так отвечал на подобные вопросы мой отец. Наверное, он тоже в свое время это от кого-то услышал. Может, от своего отца. Фраза закрепилась, осела в сознании непоколебимой аксиомой и наконец дошла до меня. Что ж, удобный ответ. Исчерпывающий, окончательный. Вот такая цепочка. Связь времен и поколений, от старого к малому.

Я давно для себя отметил, что воспоминания об отце живут во мне вспышками, похожими на те, которые возникают в ночном небе в преддверии дождя. Они возникают неожиданно, спонтанно, будто светом своим пытаются предварить очистительную дождевую бурю понимания того, что в действительности

значит для меня отец.

Из-за службы на Тихоокеанском военно-морском флоте большую часть жизни он находился в плавании. Учения, морские походы к дальним берегам не позволяли подолгу быть с семьей. Тогда, в безоблачном детстве, это не слишком тревожило меня. Казалось, что так, скорее всего, и должно быть, что подобное, видимо, происходит у всех детей. Мало смущало и то, что моими истинными воспитателями являлись мать и бабушка. Я рос смысленным мальчиком, и им было очень приятно возиться со мной. Отец, возвращаясь из череды командировок, лишь с оценивающей улыбкой смотрел на меня и, поглаживая подернутые ржавчиной прокуренные усы, нутряным басом констатировал:

— Ишь, какой! Молодец, пацан!

В точности, как этот дед на лавке... Покуда я был совсем маленьким, то смотрел на отца, как на Деда Мороза. Еще бы, он появлялся неожиданно. Разумеется, все знали о предполагаемом времени приезда, но для меня это почти всегда оказывалось сюрпризом. Может, потому, что я, как всякий ребенок, уставал ждать и забывал. Порой я настолько утомлялся многомесячным ожиданием, что выуживал из памяти разного рода приметы его возвращений и невольно заучивал их. Странно, но я научился узнавать его по скрежету ключей в замке, которые от нечастого применения долго не могли оживить сувальдный механизм. Одетый в черный китель, пахнущий табаком, гуталином и еще чем-то грубым и мужским, он грузно входил в коридор, небрежно ставил на пол пузатые кожаные сумки и по неосторожности задевал фуражкой люстру, которая словно маятник начинала опасно раскачиваться. (Как я тогда мечтал поскорее вырасти и тоже задевать эту люстру!) Хитро прищурившись, отец осторожно останавливал ее, снимал головной убор и, спешно пригладив начинающие серебриться волосы, предоставлял нам всего себя. Квартира в одночасье накрывалась волной радости, наполнялась приятной суетой и ожиданием торжества, сравнимого только с Новым Годом и Днем Рождения. В первую очередь он подходил к бабушке — своей маме, трижды целовал ее в бледные мор-

щинистые щеки, ласково гладил по голове. Затем целовал мою маму. И уж после этого брал меня на руки, надевал капитанскую фуражку мне на голову и долго смеялся тому, как забавно я в ней смотрюсь.

— Ничего! В следующий раз бескозырку привезу, — обещал он. — Будешь моряком?

— Не-а! — четко звонил я. — Капитаном хочу!

— Ну, раз хочешь, будешь! Но сначала — моряком.

И так было всегда. Все мое ранее детство пронизано томи-тельно-радостным чувством ожидания отца. В такие дни я даже предположить не мог, что когда-нибудь это может закончиться, оборваться в одно мгновение...

Однажды пришла телеграмма. Мол, ждите завтра. Мы приня-лись резко готовиться: покупать продукты, звонить родственни-кам. Помню, как мама достала из глубин шифоньера свое самое красивое шелковое платье с крупными желто-красными гербера-ми и долго гладила его. Бабушка все утро пекла пироги с капу-стой и варила компот из сухофруктов. Где-то к полудню они решили пойти на рынок купить недостающую зелень и гуся. Я остался один.

Что делал я в те часы? Не помню. Может, уроки, или приби-рался в своей комнате. Ведь к тому времени мне исполнилось десять лет. Кажется, я тайком успел помечтать о том, как покажу отцу школьные грамоты и похвальные листы за прошлое полу-годие. С гордостью продемонстрирую модель линкора «Совет-ский Союз», который несколько месяцев клеивал по замыслова-тым чертежам из подаренного отцом научно-популярного журна-ла. Представлял, как он удивится моему не по годам высокому росту и, наверное, уже не рискнет взять на руки. Я так размеч-тался тогда, что не услышал звук знакомых шагов в прихожей. Я не поверил своим ушам, ведь этого не могло быть. Все долж-но было случиться завтра... Но нет, отец уже стоял в коридоре, такой же, как всегда, улыбающийся и родной.

— Сашка! Ты что ж, один? — воскликнул он, увидев, как я со всей мочи бегу к нему.

– Папка! Как я рад!

– А где мама, бабушка?

– Они за гусем пошли на рынок! – почти кричал я, крепко обнимая отца за шею.

– Да?! Ну, ничего. Какой же ты большущий-то вымахал! А я теперь надолго. Ну, рассказывай!

Мы уселись на кухне и некоторое время в радостном молчании смотрели друг на друга. Потом неожиданно рассмеялись, и я без умолку затараторил о своих школьных успехах, о том, как изо всех сил ждал его долгие месяцы, о том, как мы с ним поедem рыбачить и еще о чем-то, как мне казалось, очень-очень важном. Он смотрел на меня немного отстраненно, не слушая будто, но в то же время внимательно, словно пытался уловить во мне скрытые от других, и видимые лишь ему одному перемены. Пару раз потрепал мой непослушный чуб, улыбнулся разорванной на локте рубашке и довольно пробасил:

– Ишь, какой! Молодец, пацан!

Прошло полчаса, отец, насытившись моими рассказами, встал с табуретки и пошел переодеваться. Вскоре он вновь появился на кухне, теперь уже в спортивном костюме, из-под куртки которого треугольником виднелась флотская тельняшка. Выпив чаю и покурив, он неожиданно повернулся ко мне и заговорщическим шепотом спросил:

– Саш, а поесть-то у нас что-нибудь найдется?

Я тут же вспомнил о бабушкиных пирогах, компоте, и незамедлительно предложил их ему.

– Пироги, это, конечно, хорошо, – хитро улыбнулся он, – но для таких серьезных мужиков, как мы с тобой, несолидно. Как считаешь?

Не зная, что ответить, я недоуменно повел плечами и вопросительно посмотрел на отца.

– Женщины-то наши, поди, не скоро вернутся. Давай, пока они там на гуся охотятся, сварганим настоящий украинский борщ! А, Сань?!

Я, зная, что отец – морской офицер, командующий не одной

сотней матросов, удивленно поднял брови и недоуменно, даже чуть обиженно пробурчал:

– Готовить?! Да разве ж это мужское дело?

Отец дружески хлопнул меня по плечу, улыбнулся и вполне серьезно ответил:

– Знаешь, Сашка, по большому счету, нет на земле таких дел, которыми не имеет права заниматься настоящий мужик. А уж борща сварить завсегда уметь должен. Овощи есть какие?

– Щас гляну. Вроде есть, на балконе.

Пока я рылся в бабушкиных запасах, отец выискал в углу морозильника увесистую говяжью кость, обозвал ее мослом, и вскоре она горделиво выглядывала из пятилитровой кастрюли.

– Молодца! – довольно сказал он, увидев, как я затаскиваю пакет с овощами на кухню. – Картошку чистить умеешь?

– Не знаю! Не пробовал! – испуганно ответил я.

– Ну, вот, сейчас и узнаем, какой из тебя моряк. Главное, запомни, кожура должна быть толщиной в газетный лист.

Я поставил перед собой помойное ведро, эмалированную миску с водой, взял самый острый нож и принялся за дело.

«Эх, чтоб ее... Знает ведь, о чем говорит!» – сокрушался я, едва справляясь с очередной «синеглазкой».

Кожура, несмотря на все ухищрения, получалась миллиметра три толщиной. Отец изредка поглядывал на мои «успехи», а сам, тем временем, ловко резал репчатый лук. А выходил он из-под ножа маленький, ровными, впечатляющими конвейерной одинаковостью квадратиками. Удивляло и то, что я, сидевший в двух метрах от отца, просто-таки истекал луковыми слезами, а он, непосредственный резчик, спокойно, бесслезно кромсал ядовитый овощ.

– Штук пять есть? – спросил он, высыпая нарезанный лук в бульон.

– Ага!

– Еще две и баста!

Сколько раз я ел бабушкины супы и борщи, совершенно не задумываясь над тем, что всему этому предшествует. Настоя-

щим откровением стал для меня процесс тушения тертой свеклы и моркови. Изодранные до крови пальцы вызвали во мне тогда и сохранили до сих пор непоколебимое уважение к женскому труду. Испробовав на самом себе все тонкости и премудрости приготовления борща, я никогда больше не оставлял порцию чего-либо недоеденной.

Нужно было видеть, как округлились мои глаза, случайно застав момент превращения бесцветного говяжьего бульона в бордовую, с оранжево-золотистыми вкраплениями жидкость, впоследствии называемую борщом. Вот так химическая реакция! Вот так дела!

– Пусть свекла проварится, как следует. Потом картошку закинем...

– А капусту? – проявил нетерпение я.

– Ее в самом конце...

Шинковал капусту отец сам. Процесс точь-в-точь напоминал ранее описанную резку лука. Бабушка, которую до сего дня я считал лучшим поваром в мире, теперь сдала позиции. Капуста получалась одинаковой длины, а ее толщина не превышала двух миллиметров. Это выглядело очевидным, но невероятным. Где и при каких обстоятельствах получил поварские навыки мой отец, я не знал. Для меня, прежде всего, он оставался морским офицером.

Наконец борщ был готов. Отец снял кастрюлю с плиты, поставил на алюминиевую подставку, достал из кухонного шкафа глубокие тарелки, половник и...

– Сашка! А хлеба-то у нас нет! – развел руками он, заглядывая в пустую хлебницу.

И действительно, хлеба ни крошки. Мама и бабушка как раз и пошли на рынок купить недостающее к предстоящему празднику.

– Вот тебе рубль! – быстро нашелся отец. – Будь другом, сгоняй, возьми булку белого и половинку черного. Ну, и мороженого.

Я без промедления обул сандалии, накинул ветровку и что

есть мочи помчался исполнять отцовское поручение. Эх, как же я радовался всем этим поручениям. И было почти неважно, какие они, главное, что исходили от отца.

По дороге в булочную встретил соседа по этажу дядю Витю – в прошлом тоже моряка, мичмана.

– Что, отец надолго приехал? – не выпуская изо рта загубник красно-коричневой бриаровой трубки, спросил он.

– Надолго! – ответил я и помчался дальше. – Потом расскажу... спешу я...

Дядя Витя кивнул и, кажется, сказал еще что-то. Это «что-то» я расшифровал много позже, став взрослее...

Мальчишки во дворе откуда-то прознали о приезде моего отца и с нескрываемой завистью смотрели вслед. У многих из них родители также были связаны с морем. Кто рыбачил на дрифтерах, кто работал спасателем, кто простым моряком. Но мой отец служил морским офицером, а это куда значительнее.

Продавщица тетя Вера, как оказалось, тоже знала о приезде.

– Маме скажи, забегу вечером. «Птичье молоко» завезли, отложила вам. Папку, смотри, с дороги не мучай...

– Хорошо тетя Вер, не буду... – засмеялся я и с удвоенной силой побежал обратно.

Дверь не была на защелке (стоило ли ее закрывать, если знаешь, что вернешься через три минуты), поэтому я вошел в квартиру без звонка и ключа. Отец сидел за кухонным столом, положив голову на скрещенные руки. Казалось, что пока я бегал, он просто заснул.

– Пап, нам тетя Вера торт отложила, «Птичье молоко», – нарочито громко сказал я, надеясь разбудить отца. – И хлеба купил. А мороженого мне нельзя пока, болел недавно.

Отец не отзывался. Я зашел на кухню и легонько похлопал его по плечу. Отец молчал. Пришлось толкнуть сильнее, и в эту же секунду он рухнул всем телом на пол. В испуге я отпрянул назад, стараясь не смотреть, но потом заставил себя повернуть голову в сторону распластанного отца. Серые стеклянные глаза его были широко открыты и смотрели в никуда. Я опустил на колени

и принялся что есть силы трясти его за плечи. Он по-прежнему не отзывался, продолжая так же страшно смотреть. Мной овладела истерика, я снова попытался его расшевелить, бил по щекам и кричал:

– Папка, вставай! Что ж это такое! Я тебя так ждал! А ты! Несправедливо...

Сколько это продолжалось, не помню. Чьи-то незнакомые руки оттащили меня, оставив в моей ладони бегунок от «молнии» отцовского спортивного костюма. Помню, кто-то дал мне таблетку и я уснул.

Похоронили отца, как и положено, на третий день. Бабушка не присутствовала на похоронах, ее еще в день смерти увезли с сердечным приступом в больницу. Мама до и после похорон все время лежала на кровати, отвернувшись к стене. Спала и плакала во сне, изредка поднимаясь покормить меня. Только сейчас понимаю, насколько она была молода, совсем девочка. Наливала в тарелку наш с отцом борщ и снова ложилась.

Я сидел по часу над ним, помешивал, рассматривая тот самый лук. Слезы нарастающей обидой подступали к горлу, не давая думать о еде, все капали и капали в борщ. В конце концов я отставлял тарелку в сторону и шел к себе в комнату.

Как рассказал мне спустя годы дядя Витя, отец попал под первую волну сокращения, что, видимо, и явилось одной из причин его скоропостижной смерти...

Сёмушка тем временем укатил настолько далеко, что, не на шутку испугавшись, остановился и заплаканными глазами выискивал меня среди прохожих.

Я заторопился к нему.

– Ну, что ж ты от папки так далеко уехал? – упрекнул его я.

– Пап, а у тебя шарф теплый? – рукавом утирая слезы, спросил Сё-мушка.

– Какой шарф? Сейчас же лето.

– Который мама связала. Синий.

– Конечно, теплый. А что?

— Значит, не заболеешь! — улыбнулся Сёмушка и поехал дальше...

ВЕЧНЫЕ ПОХОРОНЫ

Очередное дежурство по гарнизону. Грязно-желтый, выдавший виды «пазик» жалобно побряхтывает возле входа в помещение оркестра. Мы — солдаты-срочники, вооружившись надранными до неестественного блеска инструментами, топчемся на месте в молчаливом ожидании. Курим одну за одной, втягивая едкий дукатовский дым, не задумываясь почти, что он, прежде чем проникнуть в легкие, перемешивается с запахом выхлопных газов автобуса. Замечаю, как моя физиономия карикатурно отражается в зеркальном раструбе валторны одного из сослуживцев. Вспоминаю детство, «Комнату смеха» в городском парке. Тогда было действительно смешно...

Слава богу, большой барабан у меня сегодня деревянный. Таскаться с железным по кладбищенской не основательно замерзшей грязи было бы верхом несправедливости. Сверчи, как всегда, не в меру веселье и злые. Их пошлые «бородатые» шутки вынуждают меня отойти чуть в сторону. Издали чувствую их болезненное нетерпение. Видимо, кто-то уже подсуетился, заначив пару поллитровок на время долгой дороги. Наконец доносится бодрящее: «Пора...» Садимся... Выдвигаемся...

У «духа» Жени Мисина, уроженца славного уральского города Миасса, первый за службу жмур. Сидит беспокойно, беспрестанно ерзает, нервно перебирая озябшими пальцами вентиля тубы, которая почти одного размера с ним. Рост Жени — метр пятьдесят. Кто-то из старослужащих зло пошутил, сказав, что по неписаным законам военно-оркестровой службы, в «первый жмур» «духам» полагается целовать покойника в губы. Женя поверил. Потому и трясется теперь, боязливо косясь на прожженных «дедов». Но иногда все же, словно подбадривая себя, мужественно поправляет очки, с силой вдавливая оправу в покрасневшую переносицу. Готовится боец!

Разливают пойло. В этот раз я ошибся. На дворе девяностый год, водки днем с огнем... Поэтому технический спирт – почти что напиток богов. По правде говоря, начальство выделяет его для самих инструментов, чтобы вентильные механизмы медно-духовых на морозе не крякнулись. Но на начальство сверчам плевать. Оттого используют «огненную воду» по своему усмотрению, то бишь внутрь. В этот раз на брата приходится почти по стакану. Стакан один на всех. Пьют залпом, но мелкими глотками, аскетично занюхивая безначинковой карамелью «Снежок». Выпив, почти синхронно закуривают и начинают забивать «козла».

Меня, как всегда, чуть подташнивает на заднем сиденье. То ли от подпрыгивающего на неровностях дороги автобуса, то ли от сперттого запаха в нем. Коктейль из технического спирта, сигарет «Дымок» и карамели «Снежок» – самый недорогой коктейль в мире... Некоторые солдаты не выдерживают, засыпают, неудобно подложив ребристые фуражки под стриженные головы.

«Странно, – справившись с тошнотой, про себя рассуждаю я, – почему мы сегодня в фуражках, а не в шапках-ушанках? Переход на зимнюю форму одежды давно позади... Видимо, хороним какую-нибудь шишку. Отставного генерала или полковника...»

Доиграв, сверчи утихомириваются и тоже постепенно отходят ко сну. Пилить еще минут сорок. За окном промозглый бесцветный ноябрь. Ни снега, ни дождя. Оттого делается еще зябче. Скорей бы настоящая зима. Со снегом теплее и уютнее. Прохожие, торопящиеся по своим гражданским делам, вызывают зависть. И нет им дела до нас. Вот бы мне так... Счастливые... Служить еще месяцев семь, это если без залетов, а так – и до сентября могут продержаться...

Я не выдерживаю наплыва упаднических мыслей и тоже засыпаю, приладив голову к обшарпанному кадлу барабана. Снятся домашние, неестественно большие пельмени, почти манты. Затем фабричные заварные кольца с творогом и обитая рыжим дерматином дверь родного дома... Я подхожу к ней, жму

на звонок и...

– Шевелим мудями! Выплываемся! – раздается хриплый голос старшины.

Домодедовское – самое мерзопакостное кладбище из всех московских. Ни одного деревца. Обглоданные ранними заморозками кустики черноплодки, и то по периметру. Широченное голое поле с желтыми холмиками, отдаленно напоминающими детские песочные куличики. Невдалеке по пояс раздетый могильщик роет яму. Пропорционально накаченный и не по-советски загорелый, чем-то походит на Жана-Клода Ван Дамма. Мне становится нестерпимо холодно при виде его. Где-то метрах в пятидесяти от нас по широкой песчаной дороге тянется очередь разноцветных катафалков и их сопровождающих. Кажется, что хоронят здесь, не переставая, и днем и ночью. Вечные похороны...

«Красный, черный, голубой, выбирай себе любой!» – неудачно пытаюсь пошутить я.

Конца этой очереди не видно. Глядя на увлеченного работой могильщика, понимаю: смерть – самое прибыльное занятие в нашей стране...

До Жени наконец доходит, что его жестоко обманули. Искренне радуется и расслабляется. Сверчи же цинично подтрунивают над ним, да и мы тоже не заставляем себя ждать...

Забивают третий гвоздь. Вступая не вместе, душевно выдаем Шопена. Не люблю «романтистов», особенно в переложении для духового оркестра. Куда больше по сердцу «венские классики». (Они так и остались незапятнанными.) Слышится женский вопль. (Наверное, хорошим человеком был тот генерал или полковник...) Но нас он совсем не трогает. Ни генерал, ни вопль по нему. Что поделать? Иммунитет... Впопыхах выдуваем гимн: «Славься, Отечество наше свободное...». Воспроизводить дробь на большом барабане с помощью одной колотушки в заиндевевшей руке – почти искусство. Заставляют испуганно вздрогнуть выстрелы в воздух – типа салют. За полтора года службы так и не смог к нему привыкнуть.

Наконец-то все кончилось... Идем бодрым шагом к автобусу. Скорей бы в казарму и, как говорят стройбатовцы: «на массу»... По пути натываемся на скромно организованные похороны ребенка. Гроб бледно-розовый, маленький. Очень маленький... Провожаящих трое: седоватый старик лет шестидесяти пяти и парень с девушкой, чуть за двадцать. Вдруг начинает идти снег. Первый в этом году. Крупнокалиберные хлопья покрывают за полминуты розовый ситец, и он выглядит еще более бледным.

Между тем, смахивающий на Ван Дамма могильщик говорит провожающим, что вроде как пора. Девушка обреченно кивает. Гроб медленно опускают в яму и потихоньку начинают засыпать коричнево-ржавой землей. Старик не выдерживает и, пряча лицо в ладони, плачет. Тут с девушкой случается истерика. Она что-то грубое выкрикивает в адрес парня и отчаянно трясет его за рукав пуховика. Неожиданно ее нога соскальзывает, и она падает в яму, прикрывая собой припорошенный гроб от летящих с совковой лопаты комьев земли. Старик и парень неумело помогают ей выбраться. Через какое-то время сладковатый запах корвалола доносится до меня запахом самой смерти. (Эта ассоциация останется в моем сознании навсегда.)

Ошарашенные увиденным сверчи шепотом матерятся, но неожиданно замолкают. Мы тоже молчим. Молчим до самых Хамовнических казарм...